

Борьба продолжается

(рецензия на книгу С. А. Никольского «Империя и культура.

Философско-литературное осмысление Октября».

Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФ РАН, 2017. – 126 с.).

Тема «империя и культура» имеет огромное значение в контексте отечественной истории, особенно учитывая те легкость и постоянство, с которыми Россия снова и снова соскальзывает в имперское – или квази-имперское, кому как нравится – состояние государства и общества. Сейчас особенно важно понять, разобраться, почему так происходит, что это – злой рок, естественная неизбежность или все-таки нечто иное? Есть ли некая запрограммированность, даже обреченность России на имперский путь, или возможны варианты, возможно избежать этого регулярного повторения уроков прошлого, на которых никто не учится?

Богатый материал для осмысления и поиска ответов на эти вопросы дает книга доктора философских наук, главного научного сотрудника Сектора философии культуры ИФ РАН С. А. Никольского «Империя и культура. Философско-литературное осмысление Октября». Она приурочена к столетнему юбилею октябрьской революции (или переворота) 1917 года. Это одна из тех немногих вещей, что ограничивают, сужают книгу. Сам автор сразу уведомляет читателя: «Огромная тема «империя и культура» конкретизируется на материале знаменательного исторического события – российской революции октября 1917 г., столетняя годовщина которой наступает в нынешнем, 2017 г.» (с. 5). В результате книга получилась небольшая, на 126 страниц, и хочется пожелать автору, чтобы со временем она превратилась в объемное полновесное исследование заявленной темы по принципу «откуда есть пошла русская земля». Однако же и в конкретизированном, лейтмотивированном виде она способна внести значительный вклад в разработку, возможно, одной из самых больных – если не самой больной вообще – проблем русского бытия и мышления.

В предваряющем книгу введении (оно, вместе с первой главой «Об империи в России», составляет как бы теоретическую, закладывающую основы анализа часть исследования), Никольский фактически солидаризируется с представлением об известной предопределенности России к империи – в силу «возникших в истории и присущих отечественному социуму инвариантов – «констант» общественного развития» (с. 5). «Константами» российского общественного бытия автор называет «повторяющиеся на протяжении длительного исторического периода устойчивые, создаваемые государством и обществом, постоянно реализуемые на практике, а также пребывающие внутри традиций объективные и ментальные структуры, которые, с одной стороны, задают ограничения, а с другой, простраивают директории общественного (экономического, социально-политического и культурного) развития. В их русле, а также под их влиянием появляются и действуют реализующие их социальные акторы – персоны, группы, институты» (с. 5).

Признавая «остроту дискуссий об имперском... характере современного российского общества», автор стремится если не встать над схваткой, то хотя бы сохранять некоторую философскую отстраненность, незамутненность взгляда: «Термины «империя», «имперское сознание» и «имперские отношения» не используются мной в оценочном, а тем более негативном смысле. Употребляя их, я лишь констатирую исторический и наличный порядок вещей, причины появления которых лежат не только в субъективной сфере – воле правителей и народных масс. Напротив, личности и социальные группы, этот порядок санкционировавшие, его развитию способствовавшие или ему покоряющиеся, в своей целесообразной практической деятельности решают задачи оптимального приспособления себя, социума и государства к природным и общественным явлениям и процессам» (с. 5). Там же Никольский уточняет, какого курса будет придерживаться его работа, какой аспект проблемы волнует его сильнее всего: это то, как «проблематика «констант» в художественной форме осмысливалась и выражалась философски ориентированными писателями и поэтами, что и составляет предмет настоящего исследования» (с. 6).

Глава «Об империи в России» открывается энергичным пассажем, освещающим глубокую укорененность имперской темы в русской истории и сознании: «Может быть, наиважнейшей мыслью, которая была воспринята и сохранена сообществами, населяющими Россию со времени падения Византии до наших дней является мысль об империи и о том, что в своей совокупности они – имперский народ. Мы всегда знали, что живем в стране, история которой представляет собой непрерывную цепь территориальных расширений, захватов, присоединений, их защиты, временных утрат и новых приобретений. Мысль об империи была одной из самых ценных в нашем идейном багаже, и именно ею мы удивляли, восхищали или ужасали остальной мир» (с. 7). Здесь можно, конечно, поспорить с теми или иными отдельными формулировками: насколько расширения были непрерывными, а утраты – временными, оправданно ли возводить имперский менталитет уже к поствизантийской московской Руси, а не к более позднему преобразованию страны в соответственно поименованную Российскую Империю, осуществленному Петром и его наследниками. Но, так или иначе, здесь задается главная тема исследования: «Жизнь в империи не прошла для страны даром. За минувшие столетия имперское бытие сформировало наше сознание, вошло в культуру» (с. 8). С этим можно только согласиться, тем более, что и нынешний русский патриотизм играет именно на этих струнах, этих чувствах, что лучше учитывать, если хочешь проникнуть в его природу.

Чтобы избавить термин «империя» от чрезмерной широты и смутности, автор уточняет: «Определений империи, как и реально существовавших государств такого типа, может быть много, и по этой причине единого определения нет. Были Римская и Византийская империи, Османская, Британская, Китайская, Австро-Венгерская, Германская империя времен Бисмарка и Вильгельма, Веймарская республика, Третий Рейх. Были Российская империя и Советский Союз. Все имели особенности, охватить которые единым определением нельзя. По этой причине я попытаюсь дать определение только нашей империи – от примерного времени ее возникновения в середине XVI столетия и до момента крушения СССР» (с. 8).

Каковы же существенные черты этой формации? Они следующие.

Это, во-первых, «максимизация территориального расширения для достижения экономических и политических целей как важнейший принцип государственной политики. Задача присоединения народов вторична по сравнению с задачей присоединения территорий. Отсюда – отношение к присоединяемым как к сопутствующему материалу».

Второй пункт – «построение закрытой для внешнего мира самодостаточной политической, экономической и общественной системы (концепция единственной на свете «святой Руси», «железного занавеса»). Уверенность, что все, находящееся за пределами России, чуждо и враждебно ей».

В-третьих, «заложенное и культивируемое в национальном сознании представление о наличии у страны особой миссии. «Сверх-идеям» православия, «Третьего Рима», пролетарского интернационализма, оплота мирового коммунизма приписывалась неколебимая истинность и божественный характер. Возможность появления такого рода идей у других народов исключалась».

Далее, обязательной для имперской архитектуры в русском исполнении является сакральная фигура «императора-вождя (самодержца – наместника Бога на земле, «отца народов», генерального секретаря, президента), наделенного всеобъемлющей властью. Под его мировидение строятся и перестраиваются государственные институты – инструменты реализации его воли».

В-пятых, «гражданственность как качество населения в сравнении с государством вторична и подавляется, ее экономические, политические, правовые и культурные основы в форме боярской думы, автономных университетов, крупных общественных или частных объединений, парламента минимизируются или устраняются. Право подчинено воле самодержца и государственной бюрократии».

И наконец, «значимость отдельного человека сводится до мелкой детали большого механизма, его личностные особенности и интересы игнорируются. Реализуется цель гомогенизировать население – воспроизводить подданных» (с. 9-10).

Таков тип особой, континентальной империи, сложившийся в России около 500 лет назад и с тех пор воспроизводящийся, с теми или иными поправками, исторически и ментально. Это и «тип государства», и «способ хозяйственной и общественной жизни», и «особое сознание подданных». В конечном итоге, это *культура*. «Империи существуют внутри и посредством культуры... В дальнейшем в настоящей работе в рассуждениях об империи и культуре я буду обращаться к культуре духовной как... к системе вырабатываемых народом и его творцами смыслов и ценностей» (с. 10).

Особенности «православной, самодержавной и народной» Российской империи рассматриваются в кратком, но достаточно содержательном экскурсе. Точка отсчета – Византия, после падения которой Россия «ощутила себя сиротой, но вместе с тем и единственной наследницей великой империи. Россия воспроизвела, хотя и существенно скорректировала основные имперские принципы Византии. Сохранив изоляционизм от неправославного мира, хотя и не варварского, как считали в Византии, но погрязшего в заблуждениях и грехе, русские сосредоточились на расширении и укреплении границ своего царства» (с. 12). От Византии, которая заявляла о себе как о «земном бытии Царства Небесного, а о фигуре императора – как о наместнике Бога», Россия унаследовала также представление об идеальном обществе, основанном на истинной

вере. «В качестве идеала она провозгласила сообщество людей на основе общей правильной (православной) христианской веры. Различение языков, этносов, культур не просто игнорировалось, но считалось следствием греха, самовольной попытки вавилонского покорения Небес. Православием Византия преодолевала любой национализм. Власть государства была всеобъемлюща. Каждый подданный рассматривался как винтик единого механизма. Император управлял империей, а все иные народы ранжировались как «полезные» или «вредные» для православного государства» (с.11).

Однако при этом автор справедливо отмечает, что Россия вовсе не была чистым клоном Византии. «Как и в Византии, на государство смотрели как на икону, но... царю божественная воля приписывалась даже в большей, чем у византийцев, мере. И если от подданных империи не требовалось православного религиозного служения, то им предписывалось отнюдь не меньшее служение царю как помазаннику Бога и столпу государственности. Усиление тенденции «самодержавства» в противоположность «самовольству» выразилось и в том, что русские последовательно игнорировали входившее в византийское наследство римское право. Покоившееся на идее частной собственности и личности как субъекта правоотношений, оно не только не стало, как в Византии, основой имперского универсализма, но, напротив, сделалось угодливой служанкой царской власти. Гражданство в Российской империи, лишённое политических, культурных и правовых основ, было «гражданством» по месту нахождения человека на определенной территории, включенной в состав государства. У земель было больше прав, чем у населявших их жителей» (с. 12-13).

Так в логику исторического развития России, по автору, оказалась заложена специфическая версия экспансионизма: «русские начали ощущать себя народом, который способен и имеет право на пространствах Евразии подчинять себе других, главенствовать, определять настоящее и будущее свое и чужое» (с. 10). И даже более того, получалось как бы, что, «в отличие от прочих завоевателей-империалистов, мы реализовали не прагматически обусловленную, а особую «культурно-детерминированную» экспансию и действовали не ради собственного интереса, а для пользы присоединяемых и чаще всего бескорыстно, если даже не в ущерб себе» (с. 11). На самом деле, все шло не так гладко, что и показывает Никольский: «Процесс имперского строительства и формирования имперского сознания шел противоречиво. С одной стороны, в него входили представления об общине – крестьянском мире, которым крестьяне отгораживались от государства. С другой, формировалась логика захвата, перехода на новые, принадлежащие инородцам и потому «не занятые» земли, что совпадало с хозяйственной практикой экстенсивного ведения хозяйства. В этом крестьянство было с государством заодно... При этом захватывавший чужие территории русский народ был преисполнен веры в свою государственническую миссию. Считалось, что там, где живут русские, там Бог и Российская империя» (с. 14).

И однако же, «в строительстве империи посредством колонизации окраин русские не были исключительно миротворцами, как это пытаются представить сегодняшние защитники идей «духовных скреп». Мирным путем цели достигались только там, где мы встречали народы со слабо развитой культурой и национальным чувством. Там русский рецепт имперскости – личного бесправия (холопства),

господства самодержавной воли, отсутствия закона и гомогенизированного индивида в массе подданных принимался аборигенами без сопротивления. Но там, где русским колонистам противостояла сколько-нибудь развитая государственность, культура, личное и национальное чувство, там дело, как правило, не решалось миром или и вовсе терпело провал» (с. 14-15). И хотя при колонизации имели место «просветительский и цивилизационный элементы», все же «главным образом преследовалась цель гомогенизации населения территории – основы государственного единства... Гомогенизация (покорение с усреднением, низведением личностного начала до ничтожества и холопской покорности, приучение жить по воле ближнего наместника и дальнего царя) как доминирующий имперский принцип требовалась потому, что была единственным способом успешно осуществлять централизованный способ управления. Самодержец волею Божьей мог управлять, только предельно упростив все управляемые субъекты».

Именно здесь, по мысли Никольского, и закладываются первые основы конфликта Империи и Культуры в российской истории. «Культура как постоянное увеличение разнообразия и просвещение как рост информационного содержания каждого управляемого элемента имперской системе были категорически противопоказаны. При самодержавном способе правления культура делалась тем, что мешало, считалась вредной. По этой причине высокая культура допускалась в ограниченном и часто оскорбленном виде, зато процветала выгодная империи культура «массовая»» (с. 15).

Эта конкретизация очень важна – она корректирует упрощенное, холистическое, монолитное определение культуры, с которого автор начинает, культуры как единой системы смыслов и ценностей, которые создаются вместе народом и отдельными творцами. Несомненно, так *очень хочет* рассматривать ее имперский дискурс – что в царской, что в советской, что в постсоветской России. Единство народа и его отдельных творческих представителей в творении единого ценностно-смыслового тела культуры советская культурология фетишизировала до предела. В ней, как мы помним со школы, народ всегда носитель некоей творческой силы, а вместе с художниками-правдолюбцами, наделенными этой же силой, выступает как прогрессивная сущность на фоне регрессивной, реакционной, тоталитарной власти. Именно так преподносилась в советское время культурная ситуация в царской России, т.е. в предшествующей имперской формации. Однако, увы, сама советская Россия, как новая имперская формация, нещадно критикуя предшественника, повторила все его сомнительные достижения, и в куда худшем виде, устроив своему народу и его отдельным талантливым представителям весьма непростую, а порой и совершенно адскую жизнь.

Что империя – это культура, общеизвестно со времен Рима. Но дальше-то речь идет не столько о той культуре, которая основана на империи, простирается, используя термин автора, ее изнутри и несетя ею вовне, сколько о той, что находится с имперскими государством и обществом в очень непростых отношениях, порой антагонистических, в отношениях замалчивания и подавления. Есть ли в действительности *система* смыслов и ценностей, едина ли она, и так уж ли народ и его творцы сообщны в выработке ее? Если культура не более чем обустройство имперского дома-общества, функция, производное, быт – это одно. Так понятая культура – это

относительно одухотворенная проекция империи. Источник *этих* смыслов и ценностей – власть и властный дискурс.

То, как народ включен в этот дискурс, какая ему отводится роль, может разделяться людьми, но редко по-настоящему глубоко, возвышенно или интенсивно; культура как быт народа может оформляться достаточно нейтрально даже под имперским водительством. Да, бывают моменты великого единения, когда практически весь народ, власть, отдельные значительные личности живут, переживают свою принадлежность к пространственному, культурному, генетическому монолиту, сплавляются в него. Но такие моменты, слава Богу, редки – потому что связаны, как правило, с большой войной и нешуточной *реальной* угрозой.

И наконец, культура как творение творческих и мыслящих индивидуумов – это уже некий третий уровень культуры, не совпадающий так уж просто и прямо с предшествующими двумя. Он, по определению Никольского, проходит по ведомству чуждых имперскому духу ценностей – благо предполагает, в качестве своих неперенных условий, известную долю *свободомышлия* и *личностного начала*, «лица необщее выраженье». Художник (когда он *уже* – возник, стал возможен, проявился в истории как тип) может дальше, по наклонности собственной воли, сколько угодно любить, уважать, основывать себя на народной культуре, равно как прозревать и воспроизводить в своем творчестве трансляции и императивы властного дискурса. Все равно он *уже* не просто их сумма, или следствие. Лев Толстой, на которого ссылается автор, может осознать и облечь своей собственной формулой русский имперский дух, говорить о русском экспансионизме как о «силе завладевающей», как о «главном божеском призвании русских» (с. 7). Все равно он *уже рефлексировал* на эту тему, рефлексировал как особый, отдельный, отделенный, индивидуированный ум, как художник и мыслитель, а не как Уваров, встроенный в систему и изнутри дающий ей ее знаменитую формулу «православие, самодержавие, народность». Имперские «смыслы и ценности» могут присутствовать в творчестве отдельного художника, в его сознании и жизни, он даже может быть признан «плотью от плоти» империи, ее «зеркалом» и чем угодно еще, может существовать благодаря ей – и тем не менее, просто по факту он уже не будет тождественен с ее монолитом (более желаемым, чем действительным), будет уже выделен из него с самого начала. Дальнейшие герои книги Никольского – именно такие художники, правда, уже советского периода, и судьба их последовательно трагична.

Итак, мы видим разветвление, расхождение культуры с самой собой, ее разделение на 1) собственно имперскую, провластную; 2) народную, бытовую; и 3) творческую, индивидуальную (искусство, философия). Автор показывает, как сложно эти формы культуры переплетаются между собой, а «народ» часто становится союзником «государства», хотя сам терпит от него. «Имперское строительство было не только государственной, но и народной политикой. К переселению крестьянина центральной России толкала постоянно усиливающаяся при экстенсивном ведении хозяйства «теснота жизни», а закабаленные могли обрести волю только на чужой стороне... Однако крестьянство, как и управленческий слой русской колониальной администрации, придя на «незанятые» земли как захватчик, по-своему было заинтересовано в сохранении примитивного уровня сознания и культуры аборигенов.

В лице туземцев русские переселенцы обретали еще более бесправных перед российской властью людей, чем они сами. И, значит, у них появлялась возможность переложить на них часть той тяжести, которая ранее всей своей силой давила их самих. Кроме того, поскольку вслед за народом на колонизованные земли приходила государственная власть, русские оказывались под ее защитой и по этой причине тоже рассматривались местным населением в качестве привилегированного класса... Поэтому одно из наиболее обоснованных, на мой взгляд, объяснений причин активного участия народа в строительстве империи и сохранения имперского сознания состоит в следующем: русский народ бежал от власти и к власти стремился... Самодержавно-православная парадигма российской власти, дававшая желательный власти результат от середины XVI столетия до Октябрьского переворота, во времена советского строя должна была быть изменена, что и произошло. Однако при существенных изменениях формы глубинное содержание осталось неизменным» (с. 15-16). И это, очевидно, и есть главная беда России, ее «обреченность» на империю, на повторение и воспроизводство имперских форм бытия и мышления. Однако даже мощь этой традиционности не в состоянии блокировать развитие, прогресс, культурный рост. Поэтому все чаще периоды сильного давления власти перемежаются периодами давления ослабленного, все чаще случаются оттепели, новации, рывки и прорывы истинной, высокой Культуры через заграждения Империи:

«По наблюдениям многих философов, политологов и историков, развитие России происходит в парадигме периодически повторяющихся, ориентированных на новизну и прогресс рывков с неизбежными последующими откатами к традиции и архаике. Это представление получило описание во многих концепциях циклического развития страны, согласно которым в отечественной истории регулярно чередуются реформы и контрреформы, периоды «авторитарного» и «либерального» развития. Во всех этих процессах имеет место то, что может быть названо «константами» общественного бытия. Исследование их природы, взаимосвязи и взаимообусловленности в российской истории – большая научная проблема, которая соотносится с категориями традиций и новаций. Однако если последние имеют принятые определения, то «константы» как оформившаяся концептуально, глубинная часть традиций такового определения не имеют, и оно требуется» (с. 17).

Так автор переходит к принципиальной подтеме своей книги. «Константы русского бытия я определяю следующим образом... Это, во-первых, произвольно сложившийся, а отчасти целенаправленно созданный в исторической общественной практике способ устройства и функционирования общественного бытия социума; во-вторых, это постоянно воспроизводящиеся устойчивые, создаваемые государством и обществом ментальные структуры, которые, с одной стороны, задают ограничения, а с другой, простирают директории общественного (экономического, социально-политического и культурного) развития, под влиянием и в русле которых появляются соответствующие им социальные акторы – персоны, группы, институции. Константы общественного бытия русского социума задают характер его собственного развития, тип и характер его взаимосвязи с природой и другими сообществами».

Эти константы – идеи империи, самодержавия, и слияния власти и собственности. Об их окончательном формировании можно говорить, начиная с Ивана

Грозного. «Идея империи, наряду с прочим, раскрывала ориентацию страны на пространство как источник ресурсов. Самодержавие было избрано в качестве формы правления. Что же до механизма слияния власти и собственности, то он оказался идеальным инструментом развития империи и поддержания самодержавия в работоспособном состоянии. С его помощью верховная власть обеспечивала добровольное расположение и подчинение одних и принудительное управление другими... Прежде своего вещного, фиксируемого правом, юридического значения категория «собственность» обозначает свободу или несвободу человека распоряжаться самим собой, быть собственником самого себя или не быть таковым, а пребывать в той или иной степени в зависимом состоянии. Названные константы легли в основу российского способа бытия. Век от века, воплощаясь в конкретной истории – опыте страны, включая идейные поиски ее правителей, они развивались, становясь все более мощными и изощренными» (с. 21).

Отсюда, по мысли автора, становится понятна «неизбежность и органичность для России самодержавной природы государства. Империя была одной из самых простых, упрощенных, упрощающих форм власти и поддерживала свою жизненность насилием и непрерывной экспансией. Примитивные уровни развития народов, включаемых в империю, их разнообразие требовали простых форм ассимиляции. Что же до народов «развитых», то империя с разной успешностью находила способы их покорения и удержания, хотя и в форме сосуществования, а не поглощения. Но это удавалось ей только до определенных пределов, преодолев которые «продвинутые» народы либо вынуждали отпустить их добровольно (Финляндия), либо достигали этого насильственным путем (Польша)» (с. 24-25).

Такая политика негативно влияла на возможности культурного роста – как отдельных людей, так и страны в целом. «Изначально присущий Российской империи экспансионизм проистекал... и из хозяйственно-экономических причин. В этом отношении в дополнение к базовым константам российской власти и общества – империи и самодержавию – следует обратить внимание на еще одну – власти – собственности/бессобственности. Отмечаемое еще древними, а затем и христианами родовое свойство человека – его свобода – в отечественной истории из природы человека было устранено. Связанная с вопросом о качественном развитии человека и страны, проблема была... в том, что при таких отношениях несвободный (бессобственный) человек был лишен оснований для свободной деятельности, предопределяющей его инновационную, творческую активность. Не только природные условия или стереотипы властных отношений, но само общественное устройство толкало хозяйствующего субъекта не создавать новое, но лишь искать нужное в природе, в сырьевом ресурсе, адекватном его несвободному, минимальному хозяйственному участию, но дающему быстрый и до поры приемлемый результат» (с. 26).

Так Россия, обрекая себя на Империю, обрекала себя на ресурсную зависимость, экономическую стагнацию, отсталость и упадок, которые приходилось компенсировать периодически предпринимаемыми мощными рывками и послаблениями в системе государственного правления.

Соответственно, определив константы российского бытия, Никольский подходит к осмыслению темы революции/переворота октября 1917 года. «Теперь... можно попытаться взглянуть на цели и реальное содержание революции октября 1917 г. – вершины отечественного революционного процесса с 1905 до 1922 гг., т. е. от времени начала первой русской революции и до окончания гражданской войны, и на этой основе перейти к рассмотрению изменений в сфере культуры. То, что главное внимание будет уделено Октябрьской революции, объясняется тем, что именно в ней была предпринята наиболее последовательная попытка российские константы изменить, так и тем, что константы в очередной раз доказали свое «постоянство» и обнаружили свою алгоритмичную (предписывающую) природу» (с. 27).

Революция не смогла по-настоящему привести к демонтажу констант, потому что, даже упразднив (теоретически) самодержавную власть и собственность в их прежнем виде, нуждалась – или ничего не смогла сделать – с империей. «Стройность теории, претендовавшей на слом традиционных российских констант, тем не менее нарушалась неизменностью (а возможно, и усилением) ее третьего элемента – империи и имперского характера государства, который вступал в противоречие с логикой революционного процесса... Развитие революции требовало ее распространения по всей империи, и, наоборот, сохранение империи требовало дальнейшего развития революции. Но, возможно, наиболее сильным фактором, требовавшим сохранения и развития имперской формы правления, было то, что именно эта форма как нельзя лучше отвечала материализации следующей, после российской революции, цели большевиков – революции мировой... имперский экспансионизм был условием, а также средством влияния и распространения на другие страны опыта и ресурсов русской революции. В случае мировой революции востребована была бы и имперская простота властных форм, поддерживающих свою жизненность насилием. Не оставались невостребованными и имперские представления русских революционеров о личной особой миссии в мировой истории и такой же миссии у страны – родины пролетарской революции» (с. 29-30).

Итак, поскольку константа империи была сохранена, постепенно в жизнь страны после переворота вернулись и другие константы. Немногочисленные реформы оказались свернуты, улучшения прекратились, послабления были отменены. «Октябрьская революция не сменила константы российского бытия. Более того, совершившись в империи и движимая людьми с прежним или новым – революционным – имперским сознанием, она не могла не воспринять их исторически сформированных характерных черт. Черты эти в форме смыслов и ценностей фиксировались, обнаруживались и подвергались философско-художественному осмыслению русскими писателями конца XIX – начала XX вв.» (с. 36).

Пережив сильнейшее разочарование в политике, мы снова перемещаемся в пространство культуры. Художники, мыслители часто, как нам кажется, оказываются тоньше, точнее политических прожектеров, лучше прочитывают то, что есть, и угадывают, что будет. В смутные времена они выступают в роли пророков. Первыми такими пророками для Никольского оказываются Чехов, Замятин, Пильняк, Блок. Чехов ценен потому, что «его герои... русский мир глубинной России – уездная интеллигенция, помещики и крестьяне. Именно через них он пытался дать

представление о мирознании народа, который спустя несколько десятилетий ввергся в катаклизм русской революции. Если же выделить в народе его основную часть – земледельцев, то главным вопросом, поставленным перед ними фактом отмены крепостного права, был вопрос «что делать и как жить дальше», вопрос о жизни в условиях объявленной сверху свободы, об основах и способах ее утверждения в обществе» (с. 36).

Каким же получается русский человек у Чехова? «Что касается первоосновы мирознания земледельца, то Чехов наследует традицию, основанную еще Пушкиным, Тургеневым и Гончаровым. Как и его великие предшественники, он развивает мысли о глубинной связи (подчас – неразрывности, даже слитности) крестьянина, а часто и помещика с природной средой и их зависимость от собственной природы – власти страстей. Чехов фиксирует, что в этой сфере русский земледелец меньше всего подвергся окультуриванию и очеловечиванию, что он, как и его далекие предки, по-прежнему архаичен, неотделим от природного бытия, соприсроден лесу, реке, полю, подчинен живущим внутри него необоримым силам» (с. 37). Общественная ситуация не лучше, чем природная. «Отношения крестьян и помещиков между собой вскрывают не менее значимый мировоззренческий пласт, чем отношения с природой, – именно здесь обнаруживаются наиболее важные, связанные с практической деятельностью, проявления человека. Конечно, описываемое Чеховым время внесло существенные корректировки в дореформенные отношения, однако того, что называлось пережитками крепостных порядков, и в это время было вполне достаточно. По наблюдениям Чехова, не только помещики, но и сами крестьяне часто не были готовы к тому, чтобы эти отношения менять» (с. 39). Итог печален: «Пройдет менее двадцати лет, и эти крестьяне войдут в русский бунт Октября и последующую гражданскую войну» (с. 41). Была ли надежда на какой-то иной, более позитивный исход? Да. «Как отмечает Чехов, в самодержавной России, в которой на протяжении всей истории не было полноценной частной собственности, естественно, отсутствует и уважение к ней. Следствием этого стала «привычка не уважать чужой труд». Научиться «уважать чужой труд и чужую копейку» – в этом Чехов видит одну из важнейших общественных задач. И поскольку эти качества не могут быть отнесены к обществу с отношениями крепостной зависимости, главное внимание Чехов сосредотачивает на высвобождении человека из состояния несвободы, на «позитивном» труде как главном инструменте и средстве этого освобождения» (с. 42). Согласно Никольскому, тема «положительного героя, человека труда, делающего реальное полезное дело как препятствие к сползанию в революционную бездну, а может, и избежание ее – одна из ведущих» у Чехова.

Столь же пессимистичен, по мысли автора, и Замятин. «В отличие от многих, Е.И. Замятин понимал, что революция не приведет к скорому «с сегодня на завтра» одолению «свинцовых мерзостей жизни», поскольку совершается теми же людьми, которые жили в стране десять, двадцать и более лет назад с неизбежной поправкой на усталость и расчеловечивание, вызванные участием в Первой мировой войне» (с. 42-43). Жители страны «одинаково патриархальны, неразвиты, иногда – полудики, что жить им, собственно, не для чего. Что свое желание, привычка, свое своевольное чувство для них превыше всего, что ради потворства ему они готовы на все, им ничего

не боязно и ничего не жаль. Что жизнь – своя ли, чужая – тем более – копейка, потерять которую – пустяк» (с. 45). Ленин и другие идеологи военного коммунизма не считали это недостатком – скорее, «достоинством человеческого материала. Из однородного, наверное, мнилось ему, легче строить, легче управлять, тиражировать. И лучшая для этого форма – основанная на насилии, самодержавии и всеобщей бессобственности – коммунистическая империя. Сомневался ли Ленин периода «военного коммунизма» в том, что делал? Нет. Сомнения, если они и возникли, появились позже, когда сил что-либо изменить уже не стало» (с. 46).

Переходя к Пильняку, Никольский отмечает свойственные ему натурализацию «и одновременно последовательное разложение действительности на составные части, что с неизбежностью ведет к ее дегероизации. Действительность у Пильняка – это и безразличная к людям природа, оттеняющая собой всю искусственность революционного предприятия, и муть зловонного болота быта и бытия, в которые революционное действие привносится. Реальность (Россия) вечна, в то время как революция (РКП) сиюминутна и искусственна» (с. 47-48). Приговор жесток: «Чужды друг другу, а вместе и природе те, кто затеял революцию, кто взялся переменить жизнь. Нет в них сопричастности к действительности, желания и намерения понять ее и, не ломая, переменить дурное на доброе. Да и Россия, предназначенная к переделке, безмерна» (с. 49).

Блок, поэт, упоминается среди писателей потому, что пророчески угадал, расслышал гул крушения старого мира. Но это как раз таки довольно традиционная трактовка его творчества – и посвященные ему страницы, наверное, самая отвлеченная часть книги Никольского.

Итак, если уже предвестие революции в творчестве больших художников нерадостно, то и последствия ее отражены тем более катастрофично. Но при этом изменился способ отражения – если в дореволюционной и революционной литературе преобладал реализм, то в постреволюционной возобладала фантастика, с тем или иным знаком, и это чрезвычайно интересно; «именно фантазия, равно как и одно из ее проявлений – художественно-философская утопия, стали неотъемлемой частью общественной жизни, обнаруживали себя в манифестах артистических и литературных группировок, в размышлениях о будущем философов и публицистов» (с. 64). Автор сталкивает такие разные ее проявления в тот период, как знаменитая антиутопия Замятина «Мы» и откровенно агитационные произведения А. Богданова, вроде «Красной звезды». Однако подлинный герой этого раздела – Андрей Платонов. «Подобно Замятину, Платонов знает, что будущее вырастет из тех качеств и свойств людей, которые были присущи им до революции, которые (к лучшему или к худшему) преобразованы в ней и с неизбежностью переносятся на день завтрашний» (с. 66-67). Такой человек «понял мир и вселенную всего лишь как внешнее, нуждающееся в преобразовании. Он, как и всегда в истории, надеется преобразовать лежащее вне его и убежать из тоскливой пустыни. Но куда? И, самое важное: он сам останется тем, кем был прежде, и, значит, новое внешнее создаст у него ощущение новой пустыни, от которой снова нужно будет бежать... Таковы первичные философские мотивы платоновских размышлений о будущем» (с. 68).

Согласно Никольскому, послереволюционное время, время триумфа большевиков – это «время конца, время смерти. Платонов много раз повторяет: большевики объявили коммунизм концом истории... Но определяя то, что есть, как время смерти, Платонов не исключает, что люди все же найдут способ это время преодолеть и создать другую реальность. Залог тому – безграничная и фанатичная фантазийность человека. Чаще всего она, конечно, просто идиотская, но иногда в чем-то все же открывающая и предвещающая новое время... Значит, часть истории, описываемая Платоновым как смерть, начинает преодолеваться. А это уже новая жизнь, хотя и «жизнь после смерти»» (с. 68-69).

Откуда же берется эта тема смерти в культуре? «В этом видении Платонов не одинок. Все фантазии политиков и писателей-большевиков в той или иной степени включают в себя смерть. У Ленина, Бухарина и Преображенского укоренение нового строя возможно только при уничтожении значительной части социума строя предшествующего. У Замятина «выправление» стройных рядов «номеров» счастливого общества достигается посредством казни. Смерти предшествуют и сопровождают «социалистическое» марсианское строительство в романах Богданова. Да и в романах Андрея Платонова мертвецов, пожалуй, никак не меньше, чем живых» (с. 69). Или вот еще: «Смерть – общая основа огромного и разнообразного платоновского мира. Сказать, кто из героев Платонова жив (пока жив), а кто уже мертв, нельзя. Все существуют в стадии перехода от жизни к смерти, и разница между ними лишь в том, что одни находятся в начале умирания, другие на пороге могилы, а третьи мертвы» (с. 70). Почему так? Потому что уже со второй половины 20-х годов «Платонов открыто не признавал жизненности строя большевиков, делая это философски, концептуально, онтологически. Его слово для власти было тем более опасно, поскольку изначально он сам был отравлен фантазиями большевизма, но сумел их преодолеть» (с. 71). Ответом на первоначальное «оптимистическое фантазерство» политического утопизма пришла жуткая, гротескная фантастика разочарования и ужаса. «Начиная с Октября, отечественные писатели столкнулись с небывалой до той поры проблемой. Реальность была столь ужасна, что для ее изображения не годился ни один из известных жанров. То, что Платонов видел вокруг, было реально. Но если об этом ужасе рассказать правдиво, неизбежно сочли бы (да и сегодня некоторые считают) вымыслом. Следовало найти способ соединить реальность с фантазией... И Платонов создал новый философско-литературный жанр – реалистическую фантасмагорию» (с. 71-72).

Здесь Никольский формулирует одну из самых интересных своих концепций. «Большая проза Платонова – реалистическая фантасмагория, повествующая о жизни в царстве смерти. Вся она – репортажи об умирании, фактах смерти, жизни мертвых – написаны мертвецом и на языке мертвых... Большие тексты Платонова состоят из отдельных очерков, связанных между собой линиями путешествия героев от одной смерти к другой. Они будто переходят от могилы к могиле и, останавливаясь, через слой земли прозревают историю каждого трупа на российском кладбище от Балтики до Тихого океана. Смерть в мире Платонова существует в разных ипостасях: как данность, как предмет размышления, как воспоминание, как попытка жить. И даже когда речь идет о строительстве – символе будущего, это все равно повествование о завтрашней смерти» (с. 72). Платонов, «размышляя над вопросом, что такое новая советская

страна... нашел ее первоосновный вездесущий «атом» – смерть, связующую воедино предысторию, настоящее и будущее страны» (с. 74).

Империя смерти логично порождает и культуру смерти. Точнее, это высокая культура разоблачает, открывает тайну империи, в то время как насаждаемая самой империей «фасадная» культура для массового пользования, конечно же, этой темы всячески избегает, придерживаясь напускной жизнерадостности и победительного пафоса.

Связь фантазии и смерти – чрезвычайно значительная интуиция. «Фантазийность... будучи изначально рассогласованной со здравым смыслом и научным знанием... тем не менее постоянно воспроизводится в структурах общественного сознания... Поскольку фантазийность не контролируется здравым смыслом, у нее действительно обнаруживается драгоценное для царства смерти свойство – ею решается проблема «соседства» живого и мертвого. Фантазия, не претендуя на пространство жизни, одновременно лишает пространства смерть. Большевик, поселивший жизнь в смерти, не мог этой возможностью не воспользоваться... Смерть вытесняется за границы бытия, поскольку бытие обретает столь фантастические формы, что ни для жизни, ни для смерти места нет. Герои, охваченные фантазиями, не знают страха смерти. И ничего, что жизнь превращается в бред. Это не замечается. Фантазийность к тому же приходит не одна, а со своим спутником – фанатизмом. Поэтому одержимые тем и другим герои смерти не боятся» (с. 79).

Сходим образом, чрез тему смерти, толкует автор и фигуру и творчество Осипа Мандельштама: «...характер будущего неминуемо трагичен. Это следует из сверхрационального ощущения-предвидения автора, помещающегося в «пространстве» бытия-небытия между живущими и умершими. Поэт – медиум. Он видит, как под «ветряной луной» летают «хлопья черных роз» и траурной каймой влачится «птица смерти и рыдания». Он ощущает близость смерти. О ней дает знать и «черный парус», возникающий на горизонте после «похорон». Надвигающееся ужасно. Избежать его нельзя» (с. 81). Однако же при этом «поэт награжден (скорее, как несущий трагическую весть гонец, гибельно назначен) артикулировать виденное – свершающийся ужас» (с. 84).

Что же дальше? Высокая культура продолжала артикулировать смерть как сущность советской империи все время ее – и своего – существования. «Общество... утратило свой родовой признак – быть связью между людьми... Вслед за исчезновением связей исчезла личность отдельного человека... Постоянное пребывание в уверенности о неизбежности происходящего и ужаса от совершавшегося изменило психику общества. Тотальная необходимость подчинения разрушила личную ответственность и понятие греха. Более того, происходящее воспринималось (и это последовательно насаждалось властью) как установленное отныне и на века» (с. 90).

Психологический итог попыток создания «нового человека» и помещения его в «новую реальность» закономерен – именно потому, что и человек этот, и реальность на самом деле очень старые, это все та же империя, просто доведенная до абсурда. «Происходящее в реальности настолько напоминало бред, что люди со здоровой

психикой предпочитали закрывать глаза. Но «психическая слепота» не проходила даром: слепота разлагала всю душевную структуру. В любом случае ослепление было столь сильно, что, когда случилась «хрущевская оттепель», эта перемена приспособившимися, в частности доносившими и сажавшими, была воспринята крайне болезненно: раз людям обещали, что ничего больше меняться не будет, то нельзя допускать никаких перемен. Пусть остановленное время продолжает стоять» (с. 91).

Финал книги ставит нас перед болезненным вопросом: достигли ли мы дна с «советским экспериментом», и начнется ли хоть в какой-то форме движение в обратную сторону? Если верить нынешнему расцвету патриотизма и новым манифестациям имперского менталитета – увы, нет. В очередной раз – внешне, физически, фактически – побеждает Империя. Но и Культура не сдается. Правда, все, что ей порой остается – это не столько предлагать какие-то рецепты, сколько правдиво свидетельствовать о происходящем и «быть со своим народом там», где это народ, к несчастью, находится (по словам А. Ахматовой). В самодержавной России народ, как показывает автор, часто, хотя и по достаточно сложным соображениям, принимал сторону скорее властной парадигмы, действовал заодно с властью. Тотальное подавление всяческой свободы в советский период вызвало (некий весьма временный) эффект его сближения с интеллигенцией, с творцами культуры, что, в конце концов, обеспечило известное единодушие большинства в вопросе о будущем советского проекта, начиная с оттепели 1960-х и заканчивая перестройкой. Сейчас же, в юбилей революции, мы видим, как Россию все больше охватывает державный пафос, как люди предпочитают «стабильность», якобы обеспечиваемую властью, переменам и прогрессу. Побеждает архаика, традиционализм. Возвращается ли страна к дореволюционному состоянию, и возможно ли это в принципе? И не ждет ли ее в таком случае повторение революционного обрушения?

Вот как заключает свою книгу Никольский: «Современное российской общество, несмотря на изменения, произошедшие после распада СССР, тем не менее обнаруживает признаки российского и советского имперского строя. Критико-позитивное осмысление пережитого было поверхностным. Константы российского бытия, или, говоря метафорически, его матрица, сохраняются» (с. 110). И тем не менее, поворот к свободе все еще возможен. «Новое вырастает из усилий по изменению старого. И не всегда важно, в какой мере усилия успешны. Значим сам факт их наличия, полученный опыт и возможность его последующей актуализации. Если есть попытки изменений, а еще лучше – живые их носители, у нового сохраняется возможность не повторить прошлое, не разорвать связь времен. В противном случае начинать приходится заново».

Кто не учит уроков истории... «Распад советской империи произошел в силу разрушения двух базовых констант – самодержавия и собственности – власти. Однако уроки из этого исторического катаклизма, к сожалению, так и не были извлечены, а их радикальной коррекции и замены так и не последовало... Россия... еще долго обречена быть империей. Однако в этой (желаемой) империи константы «самодержавие» и «власть – собственность» должны быть заменены на «право» и «личную собственность человека на предметы и самого себя», что невозможно без большой социально-экономической и культурной работы» (с. 111). Почему в первую

очередь именно культурной? Потому что, как пишет автор в заключении: «Культура как понятие, обозначающее все, что делается человеком, в том числе – в духовной сфере, шире понятия империи и имперского бытия. Уже по этой причине механизмы преобразования империи в исторически следующую форму общественного существования – национальное государство (сообщества граждан – субъектов политики) следует искать не только в самом этом явлении, но шире – в культуре» (с. 117).

Какие-то положения книги Никольского кажутся более захватывающими, новаторскими, какие-то более традиционными в плане прочтения реалий российской истории. Но, так или иначе, это цельное, концептуально насыщенное, широкое по охвату тем и весьма плодотворное по их разработке произведение, посвященное проблемам, которые еще долго будут оставаться для нас всех предельно актуальными. Поэтому хочется пожелать автору того самого «глубокого и неспешного исследования в дальнейшем», нацеленностью на которое завершается его книга и текстуально, и, что гораздо важнее, смыслово. Интересно здесь задаться вопросом, в каких направлениях автор мог бы двинуться дальше.

Тема «империя и культура» с легкостью переводится на каком-то этапе в тему «художник и власть». Отношения эти далеко не всегда однозначны и просты. Советский опыт до известной степени приучил нас к *элементарным* раскладам. Эта привычка вызвана тем, что тогда правила игры на каждом конкретном отрезке были понятны, и было, в общем, ясно, чего ожидать. Конечно, имели место и послабления, и относительные перемены, но общая линия в основе своей сохранялась. Было очевидно, что приветствуется, а что преследуется, кто «в фаворе», а кто, как минимум, сомнителен, или откровенно враждебен и чужд. Хороший пример – судьба Н. Гумилева, не только расстрелянного, но и не последовательно не признаваемого советской властью практически до конца ее существования. Большое искусство было перманентно под сомнением, под давлением; в то же время от него ожидали и требовали определенных услуг; это был танец, выученный обеими сторонами, а главное, создающий для наблюдателя со стороны – критика, историка, исследователя – весьма отчетливый паттерн.

В результате, когда та эпоха кончилась и наступила наша, нынешняя, мы в тех или иных аспектах оказались не готовы к более сложным, «гибридным» правилам новых игр государства с культурой и искусством. Выяснилось, что для своих нужд власть не менее внимательно, чем гуманитарии, привыкшие считать культуру исключительно своей вотчиной, способна читать тексты и склонять обстоятельства жизни вчерашних диссидентов в свою пользу. В течение нескольких последних лет мы видим, как властью предпринимаются последовательные попытки присвоить, вернуть в лоно «империи» даже тех художников и мыслителей, которые на предыдущем витке считались (и были) вольнодумцами, категорическими противниками всякой имперскости. С помпой, на госканалах, отмечаются юбилеи, в трансляциях которых каждая фраза ведущих тщательно выверена в соответствии с новой линией – имярек должен восприниматься как «наш», должен работать на славу нашей великой страны, а не отбрасывать на нее тень сомнения. Уже не важно, что предшествующая властная формация его ссылала, выгоняла из страны или, наоборот, не выпускала, не печатала,

травила, изолировала, оклеветывала. Единственное, что имеет значение – формальная принадлежность к русской культуре и молчаливо подразумеваемое равенство между ней и властью, любой, сиюминутной: «наш» в смысле культуры – значит, и «наш» в смысле империи. Хороший пример этой тенденции – юбилеи И. Бродского и В. Высоцкого (последний буквально на днях).

В некоторых случаях на руку империи в ее борьбе за присвоение, укрощение культуры играет *неоднозначность* отношения к ней самих творцов культуры. Очень часто они демонстрируют двойственное, двусмысленное отношение, несводимое к какой-либо определенной матрице. У всех, начиная с Пушкина, можно отыскать как вольнодумство, так и патриотизм, державность; одни цитаты делают их кумирами интеллигенции, другие с удовольствием используются властью, когда она заявляет свои права на очередную фигуру из прошлого – мертвый ведь не возразит. Причем в отличие от, скажем, Мандельштама, смена позиции которого объясняется просто (и ужасно) тем, что с ним сделали, есть ведь случаи намного более запутанные, когда сам художник искренне поддерживает власть, идеологию, государство (Е. Евтушенко, А. Вознесенский), или даже совпадает с ней на каком-то очень глубоком философском уровне, при массе поверхностных несогласий и антагонизмов (славянофильство Б. Пастернака, подробно описанное в его биографии авторства Дм. Быкова). Как быть в этом случае? Делить пантеон на «своих» и «чужих», кого-то разбирать до запятой, а о других писать скупой, сквозь зубы? Так мы снова получим двойную линию культуры, как уже было в советские времена: одну «официально одобренную» и другую «настоящую»; только на этот раз отдавать в лагерь противника придется уже не тех, кто и так с ним, а тех, кто вроде как свой, или совсем еще недавно им был. Получается, тема «империя и культура» требует большей беспристрастности и проницательности, чем может показаться с чисто интеллигентских позиций.

Здесь нас также подстерегает еще одна опасность – имперские замашки самой русской культуры, ее горделивая вера в свою исключительность, уникальность, превосходство. Русская культура часто ощущает себя огромной и выдающейся империей художественных и интеллектуальных достижений. Отсюда она склонна искать и утверждать нечто аналогичное вне себя, ощущать фундаментальную связанность и привязанность собственного существования к внешнему контуру российской жизни. Культура может остро переживать не только банальную зависимость от государства, но и особую благодарность, родство с той почвой, на которой выросла. Игнорировать эти ее эмоции и выставлять культуру исключительно заложником и диссидентом империи было бы не слишком проницательно. Культура тесно переплетается с обществом, государством, властью, вступает с ними в непростые, идущие во времени во все стороны отношения. Часто союз этот действительно вынужден и заключается под гнетом угроз и несвободы. Но отказывая себе в понимании всех аспектов этого симбиоза, мы лишаемся и значительной части той самой культуры, которую мним исходно, искони *своей*, которую хотим еще больше любить и понимать. Здесь, конечно, проходит разрыв по самому сердцу, и это вопрос, что, в таком случае, мы выберем: позицию большей близости и захваченности – или большей отстраненности, холодные наблюдения ума – или горестные заметы сердца. Выбор перед нами. Но, возможно, разобраться с тем, как его делать и делать ли вообще,

нам поможет то, что у Пушкина эти вещи не противопоставляются, а идут вместе, хотя и сказаны, вроде как, по другому поводу.

Возвращаясь напоследок к теме империи, отметим следующее. *Империя*, как форма осуществления государства и общества (и, соответственно, культуры), противоположна *национальному государству*, и это важное обстоятельство. Дело не только в том, что империя изнутри себя раньше или позже делается, например, многонациональным явлением. Дело еще и в том, что империя на самом деле *теряет* доступ к дискурсу национальной исключительности, хотя может и не осознавать этого. Империя – это «первый среди равных», победитель и гегемон в схватке государств. Чтобы главенствовать, опережать, она вынуждена развиваться, впитывать чужой опыт, усложняться – и потому неизбежно отчуждаться от первичного оригинального базиса народности. Для многих империй конфликт между требованием прогресса и желанием сохранить простейшие основы своего самосознания стал роковым – в частности, для Российской империи, разрывавшейся между огромностью пространства (и собственного, и мирового), бегом времени, своим амбициями и жаждой оставаться укоренной в «народности», «вере», «крови и почве». Империя строится не на сознании исключительности, уникальности, особого пути того или иного народа – всякий народ так про себя думает – а на силе, схватке, превосходстве; грубо говоря, империя не субъективный, а объективный феномен. Если продолжать переносить сюда терминологию Гегеля, возможно – или даже необходимо, а там и неизбежно – новое, следующее состояние, третий тип исторической формации, вслед за субъективным (национальное государство) и объективным (империя) – нечто *абсолютное*.

Что такое это *абсолютное государство*? Тотальный, тоталитарный контроль? Глобалистская цивилизация? «Конец истории»? И какой будет культура тогда, в каких отношениях она будет с такого рода формацией? Вопрос любопытный и открытый. А может быть, это будет государство культуры, культура как государство? Но это мы заглядываем слишком далеко вперед. Для многих культура – явление, неразрывно связанное именно с *национальным* этапом: домашнее, родное, обжитое. В империи она уже теряется, размывается – подобно тому, как Шпенглер верил в вытеснение культуры цивилизацией. Возможно, культура – анахронизм, атавизм, нечто укорененное в узком, конкретном плане, что должно быть естественно «снято» прогрессом, процессом трансформации исторических форм существования человека. Но если она – нечто большее, или, точнее говоря, нечто вовсе *иное* – голос личности, которая всегда вещь по определению внешняя, несхватываемая общностями и общими законами, тогда она в принципе остается за пределами досягаемости любой власти, любой империи, хотя, конечно, на каждом новом повороте будет самым примитивным образом зависеть от них и даже, может быть, нуждаться в них, хотя бы как в объекте для отталкивания. Тогда ее конфликт с «империей» – лишь *момент* ее существования.

Однако империя, равно как и национальное государство, и любая другая государственная формация, всегда будут противопоставлять или даже подменять *так* понятую культуру – культурой *своей*, некоей «культурой» как способом презентации империи «городу и миру». Эту «культуру» тоже чрезвычайно интересно изучать, но это уже задача совсем иных дисциплин, и смысл ее и назначение тоже будут совсем иными. Подлинно философский анализ строится, в первую очередь, на точном

концептуальном различии этих двух значений. Истинная культура всегда расходится, на том или ином этапе, с культурой опосредованной, конвенциональной, подобно тому как энергия существования обречена сначала утверждать, а потом преодолевать свои формы, когда они сыграют свою роль и сделаются ей тесны. Это тоже вопрос *силы* – но силы уже не количественной, ресурсной, военной, а силы духа, демонстрация которой всегда захватывает нас несомненным указанием на некие большие мотивы и возможности истории, чем открытое обыденному зрению и расчету. Культура – сила в не меньшей степени, чем разум, чувство или совесть. И тогда противостояние империи и культуры – это уже не просто конфликт грубости и тонкости, безличного и личностного, силы и разума/чувства/совести, но столкновение *сил* – и разных концепций силы в том числе. Творчество, делание культуры требует затрат силы, энергии не меньших, чем иные операции с грубой материей. Потому власть и ополчается на культуру/искусство, их создателей и носителей, что видит в них силу, вполне сопоставимую со своей или даже в каких-то аспектах превосходящую ее. Пускай даже это лишь *знак, символ* некой такой силы – он неуютен для власти. Борьба вечна, и она продолжается. Вот о чем, в конце концов, я думаю, книга С. А. Никольского. Она поднимает важнейшую тему – тему болезни, отравленности культуры прошлым – и историей, и собственной, долго оформлявшейся сложностью, привычными ходами и лейтмотивами. Кто-то скажет, что такой поворот мысли – абсурд, ибо культура и есть память прошлого, мол, человек определяется своими могилами. Но разве только могилами он определяется? Почему прошлое в трактовке сущности культуры получает такой перевес? То же самое и с могилами – вовсе не все они почитаются одинаково. Каким же образом осуществляется культурный отбор, как складывается принципиальная для всякой культуры дихотомия «магистраль – маргиналия»? Опять-таки, кто-то скажет, что культура – эта такая фигура, центр которой везде, а периферия как таковая исключена. Но даже если признать это относительно персон, олицетворяющих ее – непосредственных творцов, создателей художественных произведений и сохраняющихся смыслов – то придется все же допустить, что *темы* в культуре, в отличие от персон, *бывают* как магистральными, так и маргинальными. Империя – это такой образ правления, осуществления власти, для которого становятся особенно значимы расклады «метрополия-колония», «центр-регион», «столица-провинция». Мы зачастую пытаемся отследить империю по ее «основному производству» – т.е., изучаем ее *согласно ей самой*, согласно тому, что она сама хочет представлять из себя и представить нам. Мы акцентируемся на ее переднем фронте, судим ее деяния и достижения, смотрим, куда она показывает. Да, мы можем в этот момент занять не одобрительную, а враждебную, осуждающую позицию – но мы все равно играем в ее игру, принимаем ее правила. Мы можем солидаризироваться с тем, что она *утверждает*, а можем и отвергнуть это. Но мало кто задается вопросом и пытается отсчитывать от того, что империя *отрицает*. А ведь она выражается в этой негации точно так же, как и в колоссальных формах своего самоутверждения. Не попробовать ли, в таком случае, стать *психоаналитиками* империи, а не критиками, не сконцентрировать ли внимание на вытесняемом ею как на более даже в чем-то значимом ее производстве? Сущность империи раскрывается, возможно, не менее отчетливо, в том, что она отбрасывает от себя, что определяет как вторичное, побочное,

ненужное. Грубо говоря, империя производит «провинцию» в той же мере, в какой и «метрополию»; собственно, вообще нельзя производить одно, не производя другого. Что же такое эта провинция, маргиналия, обочина империи, и что оказывается в нее, на нее выброшенным? Фраза Бродского, часто цитируемая, о том, что раз уж довелось в империи родиться, лучше жить в провинции у моря, получает в таком случае особый смысл. Речь идет не о провинциальном «тренде» в буквальном смысле, о каком-то особом исследовательском интересе к жизни реальной провинции той или иной империи, нашей, например, который может вдруг вспыхнуть и даже стать модным. Речь о том, что отсеивается империей, что ей вообще не интересно. При этом оно содержится где-то – на чердаке, в чулане, в глухих местах, куда редко заглядывают как любители славословий, так и несогласные. В последнее время эта тема начинает постепенно подниматься, пускай пока только спорадически – нарастает, возможно, желание отыскать некий «третий путь», некую третью колею отечественной культуры, не про- и не контр-имперскую (например, вспоминается интересная статья А. Русакова «Ответственность культуры и культурное многообразие» в 1/2016 «Дружбы народов»). Понятно, почему – мы возвращаемся все время в круг затрепанных, износившихся терминов из прошлого. И оттого наше прошлое не уходит, и это не тот модус прошлого, который храним и оберегаем культурой, который воплощает саму ее суть, существо ее призвания и существования в мире. Нет, это модус жуткого, неуспокоенного присутствия, который культуру – нашу культуру – в действительности просто насилует и подавляет. Мы окружены прошлым, причем не всем, не прошлым как таковым – что есть предмет истории и культуры – а неким *весьма определенным* прошлым, назови его имперским или еще как-то, неким неотступным дискурсом, не желающим выпускать нас из своих змеиных колец. Этот дискурс начинает играть – а может быть, с самого начала играет роль культурного фильтра, делая нас культурой и страной прошлого, а не настоящего и будущего. Возможно, путь хотя бы к частичному его преодолению лежит через уход от наших старых, усталых понятий, с каждым днем выражающих все меньше правды и реальности. Да, новые понятия могут показаться чересчур произвольными и фетишистскими. Но тут, говоря словами Хайдеггера, возникает вопрос о *конечной цели нашего вопрошания*. Чего мы хотим? Не чувствуем ли мы усталости от блуждания в замкнутом кругу одних и тех же смыслов, не достигла ли эта усталость уже критической отметки? Мы живем частичным прошлым, с каждым днем все больше теряя настоящее и будущее. Многие утешаются идеей, что это мы не застряли, а прорабатываем. Так ли это? Результат подобной «проработки» пока лишь один – бесконечные разговоры о частичном прошлом, неважно, под каким знаком проходящие, способствуют лишь утверждению его в нашем сознании как единственной константы, постоянного стабильного фона и, в конечном итоге – источника болезненной заикленности. Где он, извлеченный урок? Его не видно, а видно лишь вечное возвращение одних и тех же тем, кажется, лишь ради них самих. Сталин мог еще не вползти по-настоящему в Пастернака, но если почитать, скажем, Домбровского, то мы увидим: вот он, вполз. Пока что мы лишь увязаем глубже в разъезженной колее; болезненность разрастается; катарсис откладывается. Зачем тогда мы поднимаем эти темы? Ради лавров исследователя? Какова наша конечная цель? Все эти вопросы

остаются без ответа. И пока они звучат – нам нужны будут книги, и чем лучше, тем лучше. Борьба за культуру продолжается.

К. филос. н.,
н. с. Сектора философских проблем социальных и гуманитарных наук Института
философии РАН
Н.Н. Мурзин.

Литература

Никольский С. А. «Империя и культура. Философско-литературное осмысление Октября». Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФ РАН, 2017. – 126 с.

References

Nickolsky, S. A. *Imperija i kul'tura. Filosofsko-literaturnoe osmyslenie Oktyabrya* [Empire and the Culture: philosophical and literary understanding of the October (revolution of 1917)]. Moscow: Russian academy of sciences, Institute of philosophy Publ., 2017. 126 pp. (In Russian)